

...О своей жизни он заявил тревожно и как-то сразу неловко. Нинка, вяло ковырявшаяся в яичнице, побледнела и выронила вилку, когда он шевельнулся. Впервые. До этого он таился у нее под сердцем, проживая каждый день миллионы лет.

И вдруг будто оборвалось, Нинка похолодела – но не от боли, а от страха. Мать пристально и нехорошо посмотрела на нее. В другое время Нинке было бы наплевать на это, но сейчас она почувствовала необходимость оправдываться, будто ее застали за каким-то постыдным занятием.

– Сердце что-то схватило, – чужим голосом сказала она.

– А ты побольше пиво пей, да по дискотекам прыгай, глядишь, и до инфаркта в семнадцать лет допрыгаешься.

Мать ее не любила, как не любят чужое. Нинка была папкина дочка – такая же беспутная и московская. Сама Нинкина

мать была из деревни – но только родом. Ее родители в свое время удрали в столицу за чинами и благами, потому что «там вся культура и театры». В театр они, разумеется, за всю жизнь не разу так и не выбрались, зато в чинах ее сноровистый родитель преуспел, выбившись сначала в мелкие, а со временем и в очень даже приличные городские руководители. Возвышение для девочки, которой надлежало бы, по-хорошему, еще пороссятам хвосты крутить, а ее уже забирали из школы на машине – было неслыханное.

Но кость и норов остались те еще, и к своим тридцать семи с небольшим она умудрилась раскормить себя так, что иначе как короной ее за глаза и не называли...

У Нинки под сердцем опять ворохнулось, и она с ужасом поняла, что это не сердце, что это вообще не *ее*. Она беспомощно обвела глазами стол, будто что-то на нем ища. Голова кружилась, Нинка вдруг

почувствовала страшную какую-то свою беззащитность, в глазах у нее стояли слезы.

В следующее мгновение с дробным железным стоном вилка покатила по столу, а Нинкина мать так и замерла у холодильника, уже с нескрываемой злобой уставившись на вскочившую дочь.

– Ненавижу, ненавижу все ваши яичницы, салфетки, тарелки с цветочками! – с прыгающими губами и подбородком прокричала та.

– Вы что, девочки? – на шум в кухню заглянул отец.

Нинка бросилась к нему на шею и зарыдала громко и неутешно. «Ну что ты, доча...» – начал было отец, но замолк и молча гладил ее вздрагивающую голову.

– Полюбуйся на свою истеричку, – кивнула мать.

«Вся в тебя», – подумал он и увел дочь в ее комнату.

\*\*\*

А незадолго перед этим Нинке стали сниться сны, да такие яркие! И страшные одновременно...

Чаще всего ей снилось, что она идет по огромному бескрайнему полю, иссиня-зеленые травы в котором высотой почти до пояса и все время ходят волнами, ни на минуту не успокаиваясь. А Нинка все идет и идет вперед, но вот идти становится все труднее и труднее – степь будто бы почти отвесно задирается в небо. Но Нинка все лезет и лезет, цепляется руками за траву, сердце обмирает и заходится от страха, когда она взглядывает вниз – потому что степь и сине-зеленые волны уже далеко-далеко внизу, она чувствует, как ноги у нее начинают дрожать, она задыхается...

Но спрыгнуть еще страшнее, поэтому из последних уже сил Нинка карабкается наверх и все-таки забирается на вершину кургана. Она поднимается, чтобы осмотреться,

и замечает, что вокруг начинает темнеть – стремительно. Опускаются сумерки. Первое время ей ничего не видно, только очень страшно, потом Нинка начинает различать в темноте белые пятна, их много, они приближаются со всех сторон, и вместе с ними приближается неясный гул.

Вглядевшись, Нинка понимает, что это детские лица – маленькими человечками покрывается вся степь от края и до края. Со всех сторон они бегут к кургану и произносят какое-то одно короткое слово, страшные звуки этого слова, как волны прибоя, один за другим докатываются до нее. Малышей тысячи, сотни тысяч, миллионы...

Делается так страшно, что, если бы можно было умереть, она бы сейчас умерла, но умирать ей, видно, еще рано. Вдруг вся неумолимо текшая к кургану, затопившая бескрайнюю степь детская масса оставливается – близко-близко от Нинки. Малыши тянут к ней руки и шепчут все то же короткое и очень знакомое слово, смысл которого она силится и не может вспомнить.

И здесь для Нинки начинается самое страшное. В толпе детей она замечает одного ребенка – он единственный не смотрит на нее, не протягивает к ней руки и, потупившись, молчит. И Нинка сама начинает звать его, она тянется к нему, а он, все так же не поднимая глаз, начинает удаляться – будто по воздуху. И оказывается, что кроме нее и его в бездонной этой степи уже никого нет. Она бросается за ним, и каждый раз обрывается вниз и падает, но до земли долететь не успевает, всегда просыпаясь на этом самом месте от ужаса...

Посидев некоторое время на кровати с бешено колотящимся сердцем, Нинка обычно начинала чувствовать, что на нее накатывает дурнота, как при виде раздавленной грузовиком собаки. Иногда это было острее, иногда глуше, но, сорвавшись в туалет из

страха, что ее вырвет прямо в постели, она всегда возвращалась оттуда ни с чем, потому что никогда не ела и не пила на ночь (Нинка очень боялась стать похожей на мать).

Тем не менее, она все последние несколько месяцев не обращала на это особенного внимания, списывая приступы дурноты на издержки развеселой своей танцевально-выпивальной жизни. Задержки месячных у нее тоже раньше случались – девка она была нервная: к примеру, провалив прошлым летом экзамены в банковскую школу, она так переволновалась тогда, что начала уже всерьез подозревать что-то неладное, когда потом два месяца подряд у нее отодвигался «красный день календаря». Но тогда пронесло...

Одного любимого мужчины у нее не было. Были какие-то не то славики, не то стасики, одни из которых очень славно танцевали рэп, другие имели богатых папиков и сорили деньгами, таская размалеванных соплячек по дорогим кабакам и крутым дансингам. Она с ними спала, потому что – «так полагалось», но большой радости от близости не испытывала и, само собой, притворялась.

Нинка долго и безуспешно ломала голову – кто? Подсчитывала сроки, пыталась вычислить, припомнить, но все бесполезно. От отчаянья и какой-то безнадеги всего этого, она по ночам орала в голос, затыкаясь поглубже в подушку и давась слезами. То, что она беременна, стало окончательно ясно уже спустя несколько дней после той ее утренней истерики – Нинка купила в аптеке тест на гормоны, и он показал: да. В женской консультации уточнили – четвертый месяц, и предложили аборт «по социальным показаниям». Сюда лезло все.

\*\*\*

...После того случая, когда было много шума, и цепкая ноющая жуть сдавила его крохотное тельце, он затаился. Желания

снова крутануться через голову не было, потому что в прошлый раз он еще полтора часа потом сотрясался и дрожал вместе с мамой, с ужасом чувствуя, как вокруг него разливается какая-то едкая горечь.

Дни пошли тревожные. Он старался быть тихим и незаметным, но вскоре ему все-таки пришлось опять покрутиться.

К маминуму голосу к тому времени он уже привык, а остальные просто делил на дружелюбные и враждебные. Враждебных было больше – мама в последнее время много ссорилась, кричала и плакала. Вот и в этот раз она, правда, хоть и не кричала, но всхлипывала. Другой голос был не враждебный, но и не дружелюбный – какой-то средний, как скрип двери. И вдруг он почувствовал угрозу – по тому как мама напряглась, по тому как совсем рядом успокаивающе закрипел этот монотонный голос, а самое главное – почти совсем уже перед собой он ощутил что-то безжалостное и чужое, будто кто-то раздвигал его мир, пытаясь разглядеть его самого... Он инстинктивно отпрянул.

Нинка, оцепеневшая в акушерском кресле, вскрикнула от боли.

– Ну-ну, дурочка, не бойся, – отойдя от нее и думая о чем-то своем, сказала пожилая врачиха.

Но Нинка вскрикнула снова и, оправдываясь, сказала: «Он там, он опять повернулся».

– А ты думала, что он сам рассосется – как ушиб? – спросила врачиха и нехорошо рассмеялась.

\*\*\*

Когда-то давно, еще девочкой, Нинка тоже мечтала о большой любви. Тогда он, ее единственный и неповторимый, представлялся ей похожим на киноартиста Андрея Миронова. Потом на гардемарина Харатьяна. Потом в стране пришло время чернухи и порнухи. Ей исполнилось пятнадцать лет...

Семья их всегда считалась благополучной: отец был известный в Москве и в стране журналист, мать – еще при жизни папаши пристроили в отдел образования городской администрации. Сама Нинка тоже была не уродом, да и школу закончила на пятерки с четверками, но последние несколько лет целыми днями ходила словно потерянная – только и ждала вечера: танцев и прочего курева-гулева.

Отца Нинка любила страшно, а больше жалела. Она видела, что и в редакции он задерживается, и пьет там нередко с шоферами и наборщиками – лишь бы домой подольше не идти, потому что ждал его дома комод – деньги-зарплату проглотит и захлопнется. Такая вот любовь. А Нинки, как это раньше бывало, к его приходу уже нет, у нее своя жизнь. Поэтому в последние годы отец погрузился, распустился физически, живот отрастил.

И теперь, когда настало время решать, Нинка торкнулась к нему. Знала, откроется она матери, со свету сживет – просто и методично день за днем глаза выест. Отец же, как показалось, даже не удивился, только и спросил на каком она месяце, потом повздыхал-посопел и сказал: «Что ж, еще не поздно – не ты первая, не ты последняя...»

Нинка остолбенела – с такой легкостью далось отцу это решение. Ей стало почему-то неприятно, будто ей вместо стакана холодной воды протянули аскорбинку. Она даже пожалела, что сунулась за советом. А отец, помолчав, добавил: «Не переживай, доча, твоя мать ведь тоже не хотела, чтоб у тебя были братья и сестренки». И поплелся смотреть телевизор.

\*\*\*

...Маму он любил. Разумеется, он не мог об этом рассказать, даже подумать об этом не умел, но любил ее, как прибрежная галька любит море – без него она сразу же туск-

неет, высыхает, развеивается песком. Поэтому даже бурное и яростное, штормовое, оно для нее дорого и необходимо.

Да и жалкая она была, его мама. В последнее время она часто дрожала и плакала, и он в эти минуты тоже нервничал и болел всем своим крохотным существом.

Он, конечно, не мог бы этого вспомнить, но первые три месяца его жизни были очень счастливыми. Мама тогда много смеялась, много двигалась, но для него это было не страшно, иногда она даже толкалась где-то почти рядом с ним, но это опять было совсем не страшно, совсем не так, как недавно с этим скрипучим голосом, а наоборот – хорошо.

Если бы он мог пожалеть о том, что теперь все это закончилось, он бы, конечно, пожалел, и даже подумал бы, что это он во всем виноват, что это он так неудачно тогда толкнулся в маме. Но и этого он сделать не мог, он просто чувствовал, как мягкий и обволакивающий его мир будто бы железным кольцом откуда-то извне сжимает тревога, будто бы даже внутри его покойного мира, бок о бок с ним, как его братик или сестренка, поселилась тревога.

Он был очень напуган маминими страданиями, и будь его воля, наверное, тайлся бы как мог и не беспокоил ее. Но его воли на то не было – ручки его и ножки сами пробовали себя, и он все чаще поворачивался и толкался...

\*\*\*

Он опять юркнул внутри нее. «Вот ведь юркий какой, прямо-таки юрок какой-то!» – подумала Нинка и сама удивилась: как это хорошо и тепло у нее подумалось. Но такое бывало не часто – в последнее время она много нервничала, боялась, что мать о чем-то догадывается. Вообще, Нинка стала помногу плакать, ей почему-то представлялось, что все ее бросили и забыли. Она

даже часто ругала и в чем-то винила само то маленькое, что – то сжималось у нее под сердцем твердым комочком, то юркало внутри нее маленькой теплой змейкой.

Хотя Нинка изо всех сил сдерживала себя в еде и одно время даже ходила на шейпинг, но девка она была крупная, и мать в ней по временам чувствовалась, да и косолапила она точно так же, как ее родительница.

В последнее время это сходство усилилось, но внимания на него никто из ее знакомых не обратил. Да и Нинка после нескольких приступов, когда на танцах у нее вдруг начинал сильно болеть низ живота, перестала «колбаситься и тусоваться», отговорившись тем, что прибаливает. Пить и курить тоже как отрезало – ее сразу же начинало тошнить до судорог.

Нинка все больше и больше оставалась одна. Настоящих подруг у нее не было – ей всегда больше нравилось мужское общество, но и там были все какие-то необязательные, хотя с ними и казалось веселее...

По-настоящему-то она ведь еще и не любила. Даже первого своего мужчину вспоминала смутно: красивый парень из одиннадцатого класса, играл за школьную команду, побеждал в каких-то соревнованиях. Вместе с физруком в качестве взрослого пошел в поход с их классом на Десну, пел у костра под гитару и странными глазами поглядывал на пятнадцатилетних дурех. После, под утро, на пропахшей костром и лесом болоньевой куртке баскетболист забросил свой мячик в очередное – новое кольцо. У Нинки даже крови не было. А он тем же летом поступил в какой-то московский институт и навсегда исчез из ее жизни...

\*\*\*

Но время шло, и нужно было что-то делать. А Нинка все зачем-то тянула. Как-то раз, когда она пришла в женскую консультацию, пожилой врачихи там не оказалось.

Вместо нее была молоденькая девочка с удивительными синими глазами и очень чистым лбом. Она читала книжку, и когда в кабинет зашла Нинка, быстро заложила ее календариком с изображением какой-то иконы.

– Так, и когда мы будем рожать? – ласково протянула она, открывая Нинкину «историю болезни» (как с недавних пор в нашей медицине стали обозначать беременность). Молодая врач выжидающе подняла голову, но, споткнувшись об испуганный взгляд посетительницы, сухо добавила: или?..

Нинка, наскоро спросив, когда принимает ее врач, с шумом выскочила из кабинета. После этого она часа полтора ходила по городу, ни о чем не думала и все никак не могла успокоиться. Вечером она решила.

С отцом они договорились сказать матери, что Нинку на две недели кладут в гинекологическое отделение Боткинской с каким-то несуществующим воспалением. Ничего опасного, но пролечиться надо. Так и сделали.

\*\*\*

...Он не знал о том, что его участь уже решена. Наоборот, в последние дни стало как-то спокойнее. Мама помногу лежала, перестала плакать. Правда, он ощутил, что извне интерес к нему возрос. Кроме того, что еще несколько раз чужие пытались заглянуть в его мир и подбирались очень близко к нему, он чувствовал, что и снаружи его ощупывают, как бы пытаясь отыскать – где он. В такие моменты он старался забиться куда-нибудь подальше и затихал, но места в его мире было очень мало, и его опять отыскивали...

В тот день с мамой творилось что-то неладное: с утра все в ней было как-то напряжено и подрагивало, вскоре ее вообще стала бить мелкая дрожь. Ему тоже было очень нехорошо, он слышал над собой разные голоса, но они опять были не добрые и не злые, а какие-то ровные, деловитые.

Вдруг мама обмякла, голоса стали раздаваться реже, но резче. Он почувствовал, что снаружи – его опять как будто ищут. Раздался щелчок, и послышалось ровное и тихое гудение. Он забеспокоился: лучше бы мама волновалась, даже плакала, – он уже начал привыкать, что она у него такая, – это было бы лучше, чем затянувшаяся странная тишина и ровное, тихое гудение.

В это время мама вздрогнула всем телом, как бы пропуская через себя что-то чуждое и жесткое. Ему стало страшно, он всеми клеточками вдруг ощутил, как к нему – сантиметр за сантиметром, медленно и неумолимо – приближается какая-то страшная опасность. Он почувствовал, как в его мягкий и отовсюду защищенный мир вторглось что-то хищное и жуткое, и теперь ищет его. Он стал сантиметр за сантиметром отодвигаться от этого незваного посетителя, изо всех сил стараясь вжаться в упругую стенку своего тихого и покойного жилища: откуда ему было знать, что прошла уже целая неделя, как по воле других людей его жилище превратилось в камеру смертника!

Вдруг тихое гудение перешло в страшное завывание, что-то длинное и твердое стало засасывать его – вакуумный насос в операционной уже не выл, а надсадно дребезжал и всхлипывал, разрывая и втягивая маленькое тельце.

Перед смертью он успел открыть рот и – от боли, страха, ужаса, гибели – закричал, как мог...

\*\*\*

Она проснулась от крика. Десятки, сотни тысяч и миллионов детских голосов кричали ей одно и то же слово, их крик ударял в подножие кургана, устремлялся вверх и отраженный низким и густым, задернутым тучами небом, удесятеренный там, страшными волнами опадал на землю. Она лежала на вершине кургана, зарывшись лицом в траву,

заткнув руками уши. Но страшные волны, обрушиваясь сверху, отдирали ее руки, и в ушах стонало, гудело, рвалось пронзительное и прощальное, миллионноустое: «М а м а!!!»

Боль Нинка почувствовала сразу, было такое ощущение будто ее изнутри натерли наждаком, чем-то посыпали и зашили. Но это было ничто по сравнению с тем ужасом, который еще стоял перед ее глазами и отдавался, затихая, в ушах.

Она открыла глаза – в них стояла и не рассеивалась такая чернота и гиблость, за которыми уже ни смерти, ни жизни не могло быть. Нинка встречала в отделении несколько девушек и женщин с такими же пустыми глазами – их сторонились и в столовой пропускали без очереди. Они были похожи на выпотрошенных и просоленных изнутри рыб с зашитыми животами, которых разложили под стеклом витрины, постаравшись придать их позам как можно больше жизни...

Время будто бы остановилось.

\*\*\*

На следующее утро пришел отец, он принес ей яблоки и апельсины, положил все это на тумбочку, стал спрашивать – как она себя чувствует, не болит ли. Нинка молчала и глядела куда-то мимо него. Он еще какое-то время посидел, посопел, потом неуклюже чмокнул ее в ухо, встал и вышел.

– Не беспокойтесь, первые несколько дней они все такие, потом отходят, – послышалось из-за двери, и опять стало тихо...

А она лежала и все это время пыталась вспомнить, что же у нее было хорошего в жизни. Перед ней проносились какие-то обрывки прошлого – то залитые солнцем, то, наоборот, тихие и глубокие, как ночная вздрагивающая вода в осенних лужах.

Так, ей вспомнился почему-то один серый и дождливый день, у нее болело горло, и ее оставили дома. Она просто сидела

у окна, просто шел дождь, и ей почему-то было очень хорошо.

Но все, что вспоминалось, было все равно не то – не за что было зацепиться, что-то главное она не могла вспомнить.

И вдруг она вспомнила: глубокие, черные, два года неотступно везде следовавшие за ней глаза мальчишки из параллельного класса. Он не заигрывал с ней, не пытался, как другие, прижать в раздевалке к вешалке с душными шубами и пальто, кажется, он даже и не подходил к ней, но именно воспоминание о нем показалось ей сейчас самым главным. Звали его Валя...

– Да-да, он поймет, простит, – будто нащупала душой ответ Нинка, и уже дальше, не задумываясь, только повторяла себе: он же любил...любит...

Она быстро-быстро стала собираться на улицу. Ее, правда, здорово качнуло, когда она вставала с кровати, и ноги поначалу было очень больно переставлять, но все это казалось уже не важным. Выпросив у медсестры свою куртку и туфли и наврав, что посидит-подышит свежим воздухом во дворике больницы, Нинка бросилась к троллейбусной остановке, чтобы ехать домой – Валька жил по соседству с ними.

\*\*\*

Валя открыл дверь, и вздрогнул, увидев Нинку. Он здорово изменился с тех пор, как они закончили школу – у него пробилась нежная, жиденькая бородка, длинные волосы сзади были черной резинкой стянуты в хвостик, и вообще – он весь стал как будто еще тише и внимательней.

Он все также молча посторонился и пропустил ее в квартиру.

– Валя, – сходу выпалила Нинка и запнулась: ...скажи, ты... ты можешь мне помочь?..

Она подошла к нему вплотную:

– Помнишь, еще в школе... я тогда дума-

ла, и мне казалось... что я тебе нравлюсь... То есть, нравилась, – поправились она. – Ведь, правда?.. Скажи, а ты тогда... – с каждым словом Нинка чувствовала, как что-то рвется внутри, – ты бы мог тогда со мной... то есть, на мне... жениться? Если бы и я ... тоже...

Она испугалась сказанного, и одновременно разозлилась на Вальку, что тот так долго не понимает ее. Замолчала. Они стояли так близко друг к другу, что Нинка боялась поднять глаза, и только тянулась к нему вся, чтобы не пропустить ни звука.

А когда подняла: Валя улыбался – тихо и так, будто уже давно ждал ее слов. И Нинка, испугавшись возникшей близости, отшатнулась, и, смущенная, улыбнулась ему в ответ.

– Только я нехорошая, Валя, – задрожала она, чувствуя, что все – все еще недавно дрожавшее в ней – оборвалось... «Мама, мамочка, что они со мной сделали?!»

– Валя, – уже окончательно проваливаясь и падая куда-то, еще успела повторить она, и задохнулась, – у меня ведь ребенок... был ... умер.

Нинка прислонилась к стене и беспомощно смотрела на него. И Валя не выдержал, отвел глаза, потупился.

– Нина, – она чувствовала, как тяжело вытаскивает он откуда-то эти свои нужные, неподатливые слова, – ты ведь не знаешь, я после школы пошел в семинарию, уже отучился там два курса. Хочу вот священником стать ...

– А разве священникам, разве им нельзя... – «Зачем, зачем теперь-то все это?» – ...нельзя жениться?

– Нет, меня же еще не рукоположили... то есть можно, конечно. В смысле, даже нужно... только, понимаешь, – лишь теперь Валя обратил внимание на то, как она странно одета. «Бедная, бедная...» – ему показалось, что она только-только с похорон ребенка и немного не в себе. – Понимаешь, Нина, по

правилам Святых отец... в общем, так положено, что женою священника может стать только девушка. То есть, чистая девушка.

– Но я ведь тоже чистая, посмотри... – и Нинка зачем-то еще показала ему ладошки.

Но он только смущенно улыбнулся:

– Нет, ты не поняла: девушка, сохранившая девственность и чистоту.

– «Девушка, сохранившая дев...» – Нинка не смогла даже выговорить это слово, и только грустно-грустно, из какой-то страшной своей дали, посмотрела на Валю.

– А тебе обязательно нужно в церковь: поставь свечку на канун, записочку подай об упокоении... Да вот же у нас Иоанно-Богословская церковь неподалеку! Давай я с тобой пойду...

– Нет-нет, спасибо, – оборвала его Нинка, – этого не надо.

Она повернулась и, покачиваясь и держась за перила, начала спускаться по лестнице.

\*\*\*

Старуха на свечном ящике, продававшая свечи и принимавшая записки, с подозрением посмотрела на простоволосую, покачивающуюся девицу в куртке поверх халата. «Голову-то покрой, в храм ведь пришла», – строго сказала она Нинке, когда та поравнялась с ней.

Нинка безропотно накинула капюшон. Бабка смягчилась и уже по-доброму спросила, как ей показалось, у нищенки:

– Что у тебя, бедная?

– Ребенок... умер.

– А звали-то, окрестили его, говорю, как, по ком поминовенье заказывать будешь?

– По ком? – до Нинки с трудом доходило происходящее, – маленький, юркий такой...

– По Юрке? – недорасслышала бабка, – это значит Георгий. Помяни, Господи, младенца Георгия...

В этот момент ударили колокола – зазвучал благовест к началу службы. Церковь стала наполняться людьми, огоньки лампад перед иконами заметались и задрожали от сквозняков, Нинка удивилась, что они то сливаются, то брызгают врассыпную перед ее глазами, у нее закружилась голова и последнее, что она увидела – это плывущий вбок расписанный евангельскими сюжетами купол храма.

– «...младенца Георгия» – отозвался на удар рухнувшего тела выложенный плиткой пол, сразу наполнив всю ее обмякшую плоть непомерной тяжестью и чугунным гулом...

На какое-то время Нинка очнулась от противных, резких завываний сирены: прыгающий потолок, лица в марлевых повязках, глухие наплывающие голоса: «сильное кровотечение... сразу после операции...» И опять нырнула в небытие.

В следующий раз она проснулась уже от ощущения прохлады и покоя. Вот только рядом кто-то громко рыдал: по-бабьи, не сдерживаясь. С трудом разлепив ресницы, Нинка увидела сидевшую на стуле мать – та ревела, вывернув губы, как плачут дети от обиды и непонимания, и выглядела очень-очень жалкой. Ей, видимо, только сейчас рассказали всю правду.

Напротив матери, на корточках, сидел отец и, обхватив ее за плечи, время от времени что-то шептал и целовал ее мокрые, вздрагивающие щеки в грязных тушевых разводах. Впервые – за последние много-много лет.

Нинка слабо улыбнулась и стала тихо засыпать. Ей приснилось, что это не мать, а она в голос и неутешно рыдает, стоя на коленях перед Валею... отцом Валентином. А он сидит на скамейке и, ласково улыбаясь, гладит ее голову, повязанную черным платком. И странное дело – плакала она горько-горько, а ей становилось все легче и легче...